

В ПАМЯТЬ О ДРУГЕ

Мы много-много раз вспоминали с тобой тот черный ноябрьский вечер, когда, взявшись за руки, чтобы не сбил встречный ветер (как правило, в нашей жизни он всегда оказывался встречным – не попутным), долго-долго шли по дороге к “Узкому” – санаторию, последнему прибежищу, где болел и умирал наш Учитель – Сергей Леонидович Рубинштейн. Легким пожатием своих холодеющих пальцев он усиленно пытался соединить наши руки (руки тогда здоровых, молодых еще и остающихся дальше жить и творить ученых, таких разных и таких похожих в своей безответственной молодости перед жизнью и смертью)...

Затем было чудесное воскрешение Учителя и долгие годы общения с ним, пронизанного светом его ума и теплом улыбки. Нам всегда хотелось кому-нибудь рассказать или, еще лучше, написать об этом вечере, чтобы донести до людей хотя бы бледный отголосок, слабый отзвук этого яркого, как фотовспышка, впечатления ума, сердца, нервов. Но мы никому не рассказали и не написали об этом, как и о многом другом, потому что сила пережитого была тем неповторимым и никому не объяснимым, сотворившим в итоге наше “мы”.

И разгадка заключалась не только в том, что рядом шла наша молодость с ее экзаменами, докладами, влюбленностями, и даже не в том, что мы были теми избранными (кто знает, самой судьбой или одной строгой беспристрастной наукой), кому была приоткрыта дверь в Мир постижений, о чем мы еще тогда не знали, не догадывались, в Мир абстракций, где далеко не всегда правит Человек с его достоинствами и недостатками, как доказывал Учитель. Перед нами было открыто множество дорог и стояла основная задача Молодости – задача выбора между этими самыми абстракциями, между Добром и Злом. Мы должны были сделать теоремой и доказать ту аксиому, которую поставил перед нами Учитель.

Началось все издали, с малого, с собираемых по капелькам значков, а постепенно и слов, и строчек, в которые мы вчитывались, низко склонив головы за огромным черным столом в Институте философии, единственном, на котором можно было уместить рукописные бумаги Рубинштейна. Потом возникали первые научные фразы, которые мы записывали, не поднимая глаз, не для того, чтобы скрыть их красноту и усталость от тех бессонных вечеров “рубинштейновских чтений”, которые заменили нам “школьный вальс”, но перед незыблемой научной Исти-

ной, являемой нам Учителем повсюду: в гулких коридорах, безлюдных аудиториях, лестничных пролетах, курилках. А потом мы уже делали свои первые научные шаги в этих бескрайних вместительных лицах знания, какими нам представлялась тогда наша научная судьбина, робкие шаги, произнося попутно свои доклады, взглядами поддерживая друг друга. Наше содружество уже тогда было так непохоже на случайную или просто задушевную студенческую болтовню за чашечкой кофе, который мы оба обожали, нет, дело было не в этом. Вся наша молодость была пронизана этим встречным, ледящим ветром, о котором я упомянула вначале, описывая наш первый и последний, такой особенный и неповторимый прощальный вечер у постели умирающего Учителя, когда он завещал нам всю психологию в наследство. Это было встречное непрерывное движение, как и подобает любое встречное ледящему ветру, которое мы унесли с собой в тот ноябрьский день и пронесли через всю жизнь, как обещали.

Движение обеспечивалось Работой, работой и еще раз работой – над витиеватыми рукописями Рубинштейна, знакомством, подобно брайлевскому методу слепых, с “его рукой”, “его почерком”, этими иероглифическими знаками, на расшифровку которых ушла почти вся наша молодость и зрение; над подготовкой к выходу в свет первых реальных “плодов” наших совместных, иногда запредельных человеческих усилий: “Бытие и сознание” (1957), “О мышлении и путях его исследования” (1958), “Принципы и пути развития психологии” (1959) – последняя тройка белых коней, вылетевшая, подобно белым птицам, из-под рубинштейновских, слабеющих пальцев. Мы проводили эксперименты день за днем, час за часом, много, до изнурения, читали, пробовали писать. Эти четыре года – с конца 1956 г., когда нас “взяли” научно-техническими сотрудниками в Институт философии, до января 1960 г., когда умер Сергей Леонидович, – были годами, которые мы помним только по буквам, цифрам, номерам, знакам особого внимания оказанной нам Богом и Судьбой чести. Это была целая, прекрасная, огромная жизнь – от нее невозможно отнять ни миллиметра, не потеряв, по крайней мере, той половины Труда, которую себе тогда выделил и определил каждый из нас как будущий ученый, психолог, теоретик, эмпирик.

За эти четыре года каждый получил запас мужества, мыслей, силы духа – взамен за каторж-

ный ежедневный труд дешифровальщика, которого Андрею хватило на сорок с небольшим лет (молодой человек – он всегда и останется таким) до того черного января (зима всегда была для нас временем подведения роковых итогов – хотя Андрей не любил громких эпитетов), который отнял его у нас – сбил с ног ударом того самого шквального ветра, противостоять которому, даже вдвоем, было уже невозможно, сбил навсегда, невзвратно. Прости меня, если сможешь, если услышишь, дорогой друг. Хотя я всегда говорила и не устану повторять, что этого запаса ему хватило бы еще на одну долгую, спокойную жизнь. Он сделал свой выбор еще тогда, в день прощания, когда мы оставались одни на арене, окруженные доктриной недоброжелательства, подозрительности, вычурности. Он вытянул самую короткую свечку, предоставив другим возможность ровного, бестрепетного горения.

Будучи тридцатилетним, Рубинштейн напишет в некрологе на смерть Н.Н. Ланге, что немногие достигают в жизни таких значительных вершин, но одни, достигнув их, исчерпывают в этом достижении все свои силы, тогда как в других чувствуется еще неистраченная энергия, сила духа, которую не измеришь произведенной ею работой. Этими же словами я хочу сказать об Андрее, не боясь повторов, которых и не бывает в истории.

Способность абсолютного погружения в теоретическое пространство науки он унаследовал от отца, а силу, точность (отточенность) своего нрава – от матери. Кто знает, это ли родительское влияние определило натуру замкнутую и самодостаточную (вызывающую иногда недоверчивые вопросы), в которой всегда таилась робкая и застенчивая душа гения? Богатство внутренней жизни всегда сочеталось в нем с пристальной строгостью к своей и чужой мысли и спартанским небрежением к условиям жизни внешней, карьеризму, пустословию. Появившись на свет в огромном богатом доме – усадьбе своего прославленного деда, – он не был способен почувствовать себя обедневшим, когда семья оказалась в крошечных комнатухах, мало напоминающих жилище царского генерала... Много лет спустя, став уже директором ведущего академического Института, он не позволял себе забыться ни на миг, почувствовав значительной фигурой, облаченной властью, раз и навсегда отрекаясь от своего благополучного прошлого, от того имиджа престижности, чуждость которому он сохранил на всю жизнь. Зато он сумел пережить огромность и значительность ответственности, переданной из рук в руки Рубинштейном, завещанной как незаконченное дело Ломовым. Эта ответственность никогда не была для него ни тяжким бременем, ни героическим трудом, ни чувством особой важности, значительности, масштабности своих обязанностей. Это было лишь очень четкое и ни на ми-

нуту не оставляющее сознание того, что от каждого его слова, шага, действия могут зависеть судьбы очень многих. Это было также то, о чем шепнул ему в минуту прощания Учитель и о чем он поклялся помнить навсегда как настоящий боец и мученик науки. Вероятно, именно тогда и всю последующую жизнь то, что он открыл, придумал, исследовал, изучил в области одной только психологии мышления, сыграло свою роль, поставив его мозг в режим высшего самоконтроля напряженного обдумывания, прогнозирования способности острого видения проблемы.

Последовательно развиваемая им теоретическая, дискуссионно, исследовательски идея мышления как процесса (или, иначе – его континуальной генетической концепция), была самым ярким выражением его сознания, что от совершенного им (или кем-то другим) в данную минуту, час шага поступка, даже слова целиком зависит последующее положение вещей, людей, “расстановка сил” как говорил Рубинштейн. За этим сознанием стояла идея субъекта, потому так велика была для него цена каждого значимого, с его точки зрения, по своим последствиям хода мысли и слова.

После смерти Бориса Федоровича вряд ли кто-то сумел бы сделать Институт таким, каким он стал за последние двенадцать лет. Вряд ли это удалось бы даже талантливому управленцу, который начал бы переставлять, переубеждать, а то и перевоспитывать людей... Андрей интуитивно или сознательно, в силу склада своей личности сказал всем воюющим, недовольным, рвущимся к этому с трибуны – он так повернул дело. Он нащупал, угадал тот самый замечательный ломовский системообразующий фактор как единственный верный ключ, взявшись за который Институт как бы сам собой *отстроился* как система. Отшелушилось, отпало все пустое, ненужное, болезненное: разговоры, сплетни, зависть. Внешне могло показаться, что Институт из огромного коммуникативного Левиафана превратился в улей, состоящий из сот индивидуальной, трудовой деятельности. Да, Институт порой напоминал разорившееся дворянское гнездо, но в нем никто “не продавал” ни идеи, ни звания. И к тому же у всех на столах были компьютеры, в головах – мысли, в журналах – публикации и... приглашения на международные конференции. Не было времени, но было очень мало денег и очень много работы. Масштабом, величиной каждой “соты” оказались лаборатории, а в лабораториях – люди увлеченные наукой, погруженные в нее, приходящие на работу не по “присутственным дням”, а так часто, тогда и потому, чтобы двигалось исследование, решались научные задачи, наконец-то получались так нелегко достижимые “данные”. И как-то сразу отпал вопрос о том, кто лучше – теоретик, эмпирик-исследователь или практик;

научная деятельность, с необходимостью требующая и того, и другого, и третьего, превратила эту проблему в бессмысленную.

Был ли этот этап директорства А.В. Брушлинского лучше того, в течение которого Б.Ф. Ломов своей гигантской волей, авторитетом, обаянием своей личности создавал и системный подход в психологии, и сам Институт? Андрей сумел не только открыть, но именно создать Институт как имеющий свою концепцию, свой особый дух, свою смелость и свои трудности... Он сумел соединить в единое целое лаборатории, принадлежавшие разным научным профилям и направлениям, – анохинскую, тепловскую, рубинштейновскую. Он придал Институту форму гештальта – единственно правильного целого. Именно поэтому ему не приходилось использовать свою власть – он руководил харизмой своей личности.

Кто знает, как трудно было Андрею принять такой Институт? Никто. И со мной он не советовался. Я думаю, что ему это оказалось по силам потому, что за Институт нужно было вступить в борьбу с теми силами, которые находились за пределами научного пространства и научных ценностей. И эта борьба стала для него делом чести, совести и все той же ответственности, так что уже не надо было взвешивать свои возможности, сомневаться. И эта борьба, и заключительная победа в ней, и те, кто поддержали и поверили в него, – укрепили его: социально, лично, духовно.

А он, воплощая самое большое противоречие своей личности – теоретически осознавать себя субъектом и ответственно реализовывать себя как субъект, держался как бы *безлично*, никогда не говоря при этом “я это сделал”, “я распорядился”, “я добился”, веря в то, что сама научная необходимость возьмет “верх”.

Именно личным примером, своей безграничной честностью и бескорыстием он создал незримый

барьер для “всепроникающих” коммерческих отношений. Благодаря усилиям Андрея Владимировича Институт сохранил свое лицо, единство, свою стабильность вопреки тем изменениям, которые внесла в науку рыночная экономика.

Каким же человеком был и останется в нашей памяти Андрей? Внимательным, добрым, больше чем просто добрым – помогающим всем, всегда и всем, чем только он мог. И вместе с тем настолько закрытым, что никто не видел его суетливым, жалующимся, потеряннным, *бессубъектным*. Он вернул жизнь делу Рубинштейна, которое было убито, уничтожено, и это питало его собственные жизненные силы, его выходящую за пределы личного уверенность. Было у него одно “больное”, никогда не заживавшее место – переживание несправедливости общества, ученых, самой судьбы, проявившейся в отношении Учителя. Андрей всю жизнь переживал ее и всю жизнь хотел восстановить справедливость. И все же боль, досада не оставляли его – это было его бессознательное, которое проявлялось в борьбе со школой Выготского. Что же, у каждого из нас есть свое “больное” место.

Но случилось так, как бывает только в книгах, где сюжет логически выстроен автором. Его нашла страшная и чудовищная несправедливость – трагическая смерть. Мы живем в жестокий век, и не только потому, что каждый день убивают или умирают, а потому, что мы к этому привыкли. Я пишу, посвящая свои слова Андрею, для того, чтобы мы не привыкали, не смели привыкать, чтобы оставалось недремлющим наше сознание, не прекращалась боль, чтобы мы не смирились.

К.А. Абульханова,
доктор филос. наук, профессор, ИП РАН,
Москва